

МОИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДРУГОМ МИРЕ,
И ДА — Я КОТ



Николай Артин

**Мои приключения в другом
мире, и да — я кот (начало)**

«Автор»

2026

Артин Н.

Мои приключения в другом мире, и да — я кот (начало) /
Н. Артин — «Автор», 2026

Когда-то я был обычным котом. Но так уж случилось, что вляпался я в приключения по самый хвост. И тут завертелось: магия, гномы, эльфы, гильдия авантюристов, ну и не без монстров, конечно. Да много, в общем, чего. Я, конечно, зверь опасный — вот только, сами понимаете, для мышей. Так что в первой книге особых геройств от меня не ждите. Но вот доживу до конца — и в следующей развернусь так, что мало не покажется. Ус даю. Ну что, заинтриговал? Хоть немножечко? Если да — усаживайтесь поудобнее. Сейчас расскажу, как всё было.

Содержание

Часть 1. Я кот, и я...	5
Глава 1. ...и я пленник	6
Глава 2. ...и я вор	10
Глава 3. ...и я член семьи	13
Глава 4. ...и я спаситель	17
Глава 5. ...и я избранный	20
Глава 6. ...и я монстр	24
Ч	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Николай Артин
Мои приключения в другом
мире, и да — я кот (начало)

Часть 1. Я кот, и я...

Глава 1. ...и я пленник

*Если вы думаете, что трудно
казаться тем, кем ты не являешься,
то попробуйте не казаться тем, за
кого вас принимают. Думаю, выводы
могут вас удивить...*

Заметки чёрного кота

У клетки есть одно достоинство. В ней очень много времени. Но есть и один очень большой недостаток, и заключается он в том, что на этом все её достоинства заканчиваются. Абсолютно все.

Зато времени очень много — больше, чем нужно. Столько, что начинаешь перебирать собственную жизнь, как перебирают крупу перед готовкой, — зерно за зерном, без особой надежды найти среди них что-то путное. Я этим и занимался третий день. Зерно за зерном. Получалось не очень.

Клетка была хорошая, надо отдать должное. Толстые прутья, тугая щеколда, дно застелено сухой соломой — гном на солому не поскупился, а этот гном, я уже успел заметить, трясся над каждой мелочью. Значит, ценность я для него представлял. Как я понял позже — очень неплохую такую ценность, шестьдесят золотых.

Пахло вокруг так, что на Земле я бы решил, что сошёл с ума.

Раньше я думал, что знаю все запахи. Я прожил достаточно, чтобы так думать.

Здесь это знание не стоило ничего. Рынок — а это был именно рынок, внешне был очень похож на обычный: товары, продавцы, покупатели — но дышал этот рынок чужим. Тянуло сладким дымом, от которого чесалось в носу и хотелось чихнуть, но не получалось. Жгли какую-то траву, не для еды — для запаха, нарочно. Рядом кто-то торговал то ли рыбой, то ли не рыбой: похоже, но с прожилкой чего-то железного и холодного — так тянет от свежей раны, когда самой раны ещё не видно. Пахло шерстью больших животных, которых я раньше не видел, да и не уверен, что вообще хотел бы таких видеть.

И поверх всего — люди. Это кажется единственным, что везде пахло одинаково. Потом, мелкой суетой, желанием продать дороже и купить дешевле. В этом мире хотя бы это осталось знакомым. Уже что-то.

Я лежал, положив морду на лапы, и слушал.

Слушать я теперь умел по-новому. В этом, пожалуй, была злая шутка.

Над клеткой стоял гном Брок, я уже запомнил это имя.

Брок. Невысокий даже для своих, широкий, с руками, которые помнили работу потяжелее торговли. Немолодой — это читалось не по лицу, лицо у гномов не читается, а по тому, как он стоял: экономно, без единого лишнего движения, как стоят те, кто давно посчитал, сколько в каждом движении сил, и решил не тратить зря.

Он торговался. Брок всегда торговался. Кажется, даже во сне.

— ...редкий, — говорил он человеку напротив. Голос низкий, ровный, без нажима — нажим в торговле выдаёт нужду, а Брок нужду не выдавал никогда. — ...очень редкий. А разве редкое может стоить дешево? Вот сам подумай: если он ещё такой мелкий, а уже столько стоит — вырастишь да продашь намного дороже. А если напоказ — так и вовсе постоянная монета.

— Зверь как зверь, — сказал человек. — Мелкий, чёрный. Мало ли в лесу всякого. Это он только на твоих словах особенный.

Вот тут Брок улыбнулся. Я этой улыбки уже навидался — так улыбается тот, кто только что услышал ровно то, чего ждал.

— Редкий, — повторил он. Не громче прежнего. Громче было не нужно. Он накрыл клетку с боков пологом, отсекая свет. Внутри стало темно.

Он поманил покупателя, чтобы тот придвинулся ближе и присмотрелся. И тогда человек увидел.

Я знал, что он увидит. Я видел это на каждом лице в этом мире — на третий день уже без всякого интереса. В темноте мои глаза светятся. Жёлтым, ровным, ясным светом, будто внутри головы у меня кто-то забыл загасить лампу.

Человек отшатнулся. Втянул воздух сквозь зубы. Рука его дёрнулась ко лбу — не то перекреститься, не то отвести что-то, у них тут был для этого свой жест, я его уже выучил: два пальца от брови вниз, к подбородку.

— Грайв... — выдохнул человек, и голос сел. — Быть не может...

Брок не поправил. В торговле не поправляют то, что покупатель достроит сам — и страшнее, чем было на деле.

Тут надо кое-что объяснить, иначе непонятно, из-за чего весь шум.

Котов в этом мире нет. Совсем. Таких как я здесь не существует — ни как явления, ни как породы, ни как вообще такой возможности. Есть нечто отдалённо похожее — грайвы: крупные серые твари, опасные настолько, что ими у огня пугают детей, чтобы не лезли в лес. Не уверен, что я действительно на него похож, но живого грайва видели единицы — и не каждый из них потом этим хвастался.

В темноте у грайва горят глаза. Красным, ровным, как два уголька. Это в здешних краях знают даже те, кто грайва в глаза не видел: если ночью из тьмы на тебя смотрят два огонька — прощайся с жизнью. Больше ни у кого здесь глаза не горят в ночи. Ни у кого.

А тут — я. Меньше грайва раз в пять, чёрный, безобидный с виду, как тень от него. Сказать про меня «это грайв» никто бы не решился — для такого надо хоть раз увидеть настоящего и уцелеть, а таких немного. Но глаза. Глаза горели. А это был верный признак смертельно опасного зверя — и зверь этот не сулит ничего доброго.

Для местных это не зверь. Это синоним ужаса. Примета. Что-то на стыке чуда и беды, а человек так устроен, что за чудо со страхом платит охотнее, чем за чудо без.

— А точно грайв? — Покупатель уже немного опомнился и прищурился. — Мелковат больно. И глаза вон — жёлтым горят, а не красным.

Брок и не утверждал, что грайв.

В том и был весь фокус. Он вообще ничего не доказывал — ронял слово и давал покупателю додумать за себя. Чужой страх Брок чуял раньше, чем тот складывался в голове у самого человека, и всегда знал, что с этим страхом делать.

— Жёлтым, — согласился он легко. — Не красным. И мелкий. Грайвы, говорят, серые и с телёнка ростом, всё так. — Он выждал ровно столько, сколько нужно. — Вот и думай, кто ж тогда сидит перед тобой в клетке и сверкает жёлтыми глазами, если даже не грайв.

Покупатель сглотнул.

— Тридцать, — сказал он наконец. — Тридцать дам.

— Шестьдесят.

— Да побойся ты...

— Шестьдесят. — Брок отдёрнул полог. Свет хлынул в клетку, и глаза мои погасли сами собой. — За такое не торгуются. За такое либо платят, либо потом всю жизнь рассказывают, как почти держали в руках и пожадничали.

Хороший он был торгаш. Этого у него не отнять.

Я отвернулся.

Не из гордости — хотя гордость, что уж там, тоже имелаась. Просто смотреть, как тебя продают, занятие на любителя, а я насмотрелся за три дня вперёд на всю оставшуюся жизнь. Сколько её там оставалось.

Понимаете, в чём соль? Теперь я понимал каждое слово. Не интонацию, не выражение лица, как раньше, — по ним только и судишь, поглядят тебя или пора уносить ноги, — а сам смысл сказанного. Я ещё не до конца понимал, нравится мне это или нет, но это буквально перевернуло мой мир.

Я не совсем уверен, как так получилось, но больше чем уверен — причиной всему была Вэсс. Это имя до сих пор шипит в моей голове.

Но о Вэсс — после. Доберёмся и до неё, дайте только время, а пока скажу только одно: знакомство вышло скверное и вовсе не по моей воле.

Тогда, в клетке, я о ней почти не думал. Думал о другом — о том, какая злая получилась шутка.

Понимать теперь всё — и не мочь сказать ни слова. Я разбирал каждый ход в Броковом торге: где он блефует, где набивает цену, где держит её вовсе не для этого покупателя, а для следующего — того, что слушает из-за плеча и делает вид, будто разглядывает горшки. Разбирал. И молчал.

Открой я рот — выйдет то, что всегда выходит у кота. Звук без веса. Над ним умилятся или отмахнутся, смотря по настроению, и не услышат ничего: слышать там, по их разумению, нечего. Мяукнул и мяукнул.

А мне было что сказать. В том и беда. Не «покормите» и не «выпустите» — это я бы кое-как промаякал, доходчиво. Другое. Такое, от чего и этот рынок, и этот город, и тот лес, где водятся грайвы, и всё, что дышит под здешним небом, могло однажды сгореть дотла.

И знал об этом я один.

Хотя нет. Наверное, даже если бы мог сказать — не сказал бы. Не поняли бы меня, наверное, даже со словами, а кто понял — не поверил бы. Вот такая ирония.

Да и вообще, не уверен, нужно ли оно мне было — рассказывать то, о чём я знал. Не был этот мир ко мне приветлив, чтобы что-то для него делать или за него переживать.

Человек ушёл. То ли не было у него столько, то ли цена была слишком высока, а может, и вовсе не собирался покупать — просто самому интересно было на горящие глаза посмотреть.

Брок проводил его взглядом без сожаления, сел на край повозки и принялся чистить ногти щепкой. Дело шло к вечеру. Рынок редел, запахи оседали, дым от той травы стелился теперь низко, по земле.

От скуки я разглядывал рынок сквозь прутья. За три дня насмотрелся, но глазеть всё равно было на что.

Народ тут ходил разный — и не только на двух ногах и с одной головой, как я привык. Мимо протатился здоровяк, у которого вместо кожи была чешуя, серо-зелёная, как болотная тина; он тащил на спине столько груза, что под ним согнулась бы и лошадь, и несло от него болотом и железом. Следом семенила старушка — с виду обычная, только уши длинные и острые, как у Вэйрис; она оглядывала всё вокруг так, будто ей тут все должны. Торговали чем попало: живой птицей, что орала на весь ряд, вязанками сушёных кореньев, от которых щипало в носу, какими-то камешками — они чуть заметно светились в тени навеса.

Дома, на старом моём рынке, я заранее знал, кто чем пахнет и чего от кого ждать. Здесь не знал ничего. И, честно скажу, было в этом даже что-то интересное — если забыть, что смотрю я на всё это из клетки, можно сказать с ценником на боку.

Помимо запахов, было что и послушать. Спорили о ценах на зерно — мол, к зиме подскочат. Кто-то ругал дороги: без охраны, говорят, не проехать — беспокойно стало. Двое неподалёку вполголоса говорили про Империю и какие-то дальние её края — да такие небылицы плели: то про диковинных монстров, то про несметные богатства в каких-то подземельях. Мне вроде и дела до этого не было, а вроде и интересно — вдруг правда? А другой раз просто от скуки слушал да складывал по крупице: вдруг пригодится ещё, делать-то всё равно было нечего.

А под вечер к клетке подошёл ребёнок. Совсем маленький — из тех, кому ещё не успели рассказать, кого положено бояться. Присел на корточки, сунул нос чуть ли не между прутьев и уставился на меня во все глаза. Не с ужасом — с восторгом. Я хотел отвернуться, как отворачивался ото всех, и не смог: очень он мне напомнил первого моего хозяина, когда я ещё совсем котёнком был.

Я принялся и хотел уже подойти поближе — пахло от него молоком и чем-то сладким. Но мать почти сразу выхватила его — подхватила под мышки, оттащила, забормотала своё и торопливо провела пальцами ото лба к подбородку. А он всё оглядывался через её плечо, пока их не проглотила толпа. Детская любознательность, стало быть, и в этом мире такая же, — подумал я.

Рядом, чуть в стороне, сидела эльфийка. Вэйрис. Молодая, быстрая, с лицом того, кто однажды решил больше не удивляться — и почти преуспел. Весь торг она просидела молча; она вообще не вмешивалась сразу, вступала, когда от неё уже не ждали, и оттого её скупые слова, казалось, весили чуть больше, чем у других.

— Не продашь ты его, — сказала она. Не зло. Просто как говорят вслух то, что давно решили про себя.

— Продам.

— Дорого хочешь.

— Дёшево грех. — Брок кивнул на клетку, не глядя. — Ты на него посмотри. Такого второго нет. Нигде нет. Я полмира прошёл — не видел.

Вэйрис посмотрела.

Покупатель глядел на меня как на опасного зверя. Брок — как на строчку в счёте. Она — иначе: дольше, чем нужно, чтобы оценить товар, и совсем не так, как смотрят на товар. Не на шерсть, не на зубы, не на горящие глаза. Просто в глаза, как с собеседником.

Я не отвёл взгляд. И она не отвела. Какое-то время мы так и смотрели друг на друга через прутья — кот и эльфийка, — и кто кого разглядывает, было уже не разобрать.

Потом она чуть качнула головой, то ли себе, то ли мне, и отвернулась первой. Ничего не сказала. Но что-то для себя отметила — это я видел.

Тогда я списал всё на усталость, свою и её. Только усталость была тут ни при чём.

Но я забегаю. Так не годится.

Они звали меня Мрак.

Придумал Брок, в первый же вечер, вертя имя на языке так и эдак, как монету на зуб. «Под такое имя и цена другая». Вэйрис фыркнула, но не спорила. Имя приклеилось.

Меня звали по-разному за мою жизнь. Это было не самое плохое. Грозное, мрачное, под редкого зверя — пусть. Я отзовусь и на «Мрак».

Но звали меня когда-то иначе. В другом мире, которого больше нет, — по крайней мере, для меня, — был дом, и в доме меня звали так, что и повторять-то теперь странно. Барсик. Глупое имя. Тёплое. Даже, наверное, немного дурацкое.

Вот с него, наверное, и надо начинать.

Я три дня лежал на этой соломе и думал, с чего бы начать, если бы можно было хоть кому-то рассказать. Сперва решил — с того, как меня поймали эти двое, но, пожалуй, лучше будет начать с самого начала.

А сначала был кусок телятины...

Глава 2. ...и я вор

Кто-нибудь из вас пробовал поговорить о морали и высоких ценностях с урчащим от голода животом? Если нет, то попробуйте — отличный собеседник, а аргументы приводит такие, что не каждый переспорит...

Заметки чёрного кота

Если кто спросит, с чего всё началось, — отвечу честно: с голода.

Жизнь у меня была богатая на приключения. Так мне, по крайней мере, казалось. А после в какой-то момент покатила под откос, и с тех пор, если приглядеться, все мои приключения стали начинаться одинаково — с урчания в животе. Это у нашего дворового брата вместо «жили-были».

«Жили-были». Это ж надо так завернуть. Нет, что ни говори, а думать — это всё-таки не моё.

Голод в то утро был будничным. Не тот, что валит с лап и туманит голову, — этот придёт позже и о себе ещё заявит, — а ровный, рабочий, как сквозняк из-под двери: вроде и терпишь, а покоя не даёт. С таким голодом не умирают. С таким голодом идут добывать пропитание. А у дворового кота, сами понимаете, только два пути — выклянчить или спереть.

А воровать я умел. И похвалиться бы, да некому, — так что поверьте на слово: умел хорошо. На улице иначе нельзя. Улица быстро делит всех на тех, кто умеет, и тех, кто ждёт подачки с грустными глазами и протяжным «Мя-я-я-у».

Так вот, о телятине.

Она лежала с краю мясного прилавка, спрятанная под газетным листом. Да так лениво спрятанная, что казалось — специально для меня и приготовили. Угол газеты к полудню сполз, и мясо выглянуло на свет — большое, тёмно-красное, тяжёлое даже на вид. Я заметил его, едва открылся рынок, и с тех пор не выпускал из поля зрения. По глазам всегда легко понять, голоден ты или нет, — это видно по тому, как взгляд цепляется за чужой кусок.

Тут надо кое-что вам сказать, иначе вы меня неправильно поймёте дальше.

Тогда я слов не понимал. Ни единого. Человеческая речь была для меня шумом — но шумом живым, с двумя сторонами: тёплой и холодной. Я слышал, когда голос сулит миску, и когда — пинок; когда человек врёт и когда боится; когда устал так, что ему уже всё равно. На это слова не нужны — нужен наметанный глаз да немного опыта, а опыта у меня к тому моменту было на три жизни вперёд.

Другими словами, на том рынке я не понимал ни слова и понимал всё.

Место у меня было под дощатым настилом, в овощном ряду. Своим я его не звал — кошки не владеют, кошки занимают, — но по утрам оно служило мне исправно. Дождь туда не доставал, людские глаза тоже, а мясной угол был как на ладони. Большого от места и не требуется.

Пахло, как пахнет всякий рынок на рассвете: рыбой — плотно, нагло, забывая всё прочее, пока не приучишь нос её не замечать; хлебом из пекарни — этот запах я уважал особо, честный запах, без подвоха, хоть честностью сыт не будешь, проверено.

Мясник был из тех, кому работа давно заменила мысли. Руки сами знали, куда лечь каждому куску, голова при этом могла спать. Я таких любил — не за приятный нрав, а за предсказуемость. Предсказуемый человек — открытая дверь, надо только дождаться, когда он отвернётся.

Он отворачивался дважды. Болтал с соседом через прилавок, спиной к товару, и каждый раз — изрядно, можно было успеть состариться. Я подождал третьего раза. Терпение — единственное, чем я был богат, и тратил я его щедро.

И дождался.

Прилавок опустел, мясник отошёл, и я двинулся. Не бегом — бегом ходят дураки и те, кому уже нечего терять. Я шёл медленно, лениво, как ходит тень или сытая ворона, потому что быстрое движение глаз цепляет, а медленное рынок проглатывает не заметив. Этому не выучишься. С этим родишься — или будешь голодать.

Дальше всё уложилось в один вдох. Край прилавка. Телятина в зубах — холодная, тяжёлая, настоящая до головокружения. Разворот к толпе, чтобы в ней растаять.

И толпа бы меня спрятала. Спрятала бы непременно — не вернись мясник на пару мгновений раньше, чем я рассчитал.

Пары мгновений хватило.

Сзади ударил голос — короткий, злой, из тех, что бьют прежде кулака. Я не рванул сломя голову: это повадка дилетантов, рвануть сразу — значит выдать испуг и потерять голову. Я прибавил ровно столько, чтобы держать промежуток, и нырнул вбок, в просвет между рядами, — а в просвете стояла женщина. С корзиной, неторопливая, уткнувшись в ценник, и уступать дорогу коту с краденым в зубах в её утренние планы не входило.

Я шархнулся. Мясо вылетело. Женщина ахнула.

Телятина шлёпнулась в лужу, как раз между двух булыжников.

Я глянул на неё — всего миг. Лужа как лужа, для кота лужей кусок мяса не испортить. Беда была в том, что я замешкался и потерял ценные мгновенья. Тяжёлые шаги нагнали меня, а следом нагнал сапог.

Не скажу, что было больно. По правде, почти и не было — пинок вышел скорее в сердцах, чем всерьёз. Но врасплах. Я отлетел, приложился боком о ножку прилавка и пару ударов сердца лежал на холодных камнях, соображая, с какой стороны на меня обвалилось небо.

Надо мной встали сапоги — кожаные, тяжёлые, в застарелых пятнах. И полился голос. Слов я, ясное дело, не разбирал, но и без слов всё было понятно: в этом голосе не было ничего хорошего, но не было и злости — была усталость, которая хуже всякой злости. Так звучит тот, кому надоело раньше, чем ты успел провиниться, — и твоя вина тут не причина, а последняя соломинка. Что-то про «не впервой». Что-то про загубленный товар. Знакомая песня, я её слышал на разные голоса всю жизнь и наизусть знал, чем кончается.

Я уже примерял, куда лучше уходить. Справа — та, с корзиной, отступила, но недалеко. Слева прилавок, за спиной стена. Сам мясник качнулся вправо — стало быть, мне влево, вдоль стены, к рыбному ряду, где толкотня и где меня не достанут.

Я подобрал лапы. И тут вмешался третий голос.

Её я прозевал. Не услышал, как подошла, — а это со мной случается до того редко, что я и теперь, спустя всё, на себя за это в обиде. Серое пальто, потёртое на локтях. Шарф сбился набок. В руке сумка, тяжёлая, явно тянет плечо вниз.

Голос у неё был ровный. Ни злости, ни слащавой жалости — просто ровный, как у того, кто за день столько всего пережил, что на лишние чувства уже не разменивается, говорит одно нужное.

Что говорила — я не знал. Но что происходит — понимал лучше, чем если б знал. Она выговаривала мяснику. Тот огрызался, и тёплого в нём было мало: сперва громко, с обидой человека, которого, по его разумению, зря выставили виноватым, потом тише, потом совсем глухо. Я следил за этим, как следят из подворотни за чужой сварой: чем кончится — не моё дело, а всё ж любопытно.

Кончилось тем, что он бросил ей что-то колючее и отвернулся к мясу. Что именно — не разобрал, но соль уловил: дескать, жалко — сама и возись. Есть у людей такие слова, после которых им самим стыдно, а назад уже не возьмёшь.

Она поглядела на него. После — на меня.

А я лежал у ножки прилавка и смотрел снизу вверх. Снизу вверх я в той жизни смотрел на всех — рост у меня был не для гордости.

И вот что: жалости в её глазах не было. Жалость я знаю в лицо, она глядит мягко и чуточку свысока, она гладит не нагибаясь. Тут было другое, чему я тогда и названия не подобрал. Будто она во мне кого-то узнала. Будто оба мы влипли в одну и ту же историю, и она не знала, как из неё выбираться, — ни мне, ни себе.

Уйти было самое время. Мясник отвернулся, она застыла, толпа рядом дышала спасительными просветами. Один рывок — и поминай как звали.

Но я почему-то не ушёл.

Почему — тогда не задумывался: не ушёл — и не ушёл. У меня на этот счёт принцип простой: если ноги не несут прочь, стало быть, есть в этом какой-то резон, а голове докладывать они не обязаны. Это я теперь размышлять да думать повадился, будь оно неладно. А тогда — просто остался.

Запах добрался до меня раньше неё самой. Горьковатый, травяной, живой — не лекарство, а так пахнут пальцы, которыми с утра что-то заваривали и до конца не отмыли. Я всё ещё лежал на стылых камнях, когда она наклонилась.

Сделала это медленно. Не как тянутся к зверю, которого опасаются, и не как хватают того, кого боятся упустить. Рука опустилась и замерла — на мгновение, но мгновение ощутимое, — и только потом потянулась ко мне. Если подумать теперь, она ведь, наверное, нарочно дала мне эту заминку: в надежде, что я улизну и решать ей не придётся.

Я не улизнул.

Она подняла меня — ладонь под грудь, ладонь под лапы — без лишней силы, но крепко. Пахло от неё простым мылом, той горькой травой, холодом улицы и старой шерстью пальто. Нос мой ткнулся в это пальто, мягкое, протёртое, — и, врать не стану, ткнулся с облегчением, какого я от себя не ждал и которого слегка устыдился.

Она пошла. Скоро, не оглядываясь, тем шагом, каким уходят, когда решено: оглянуться — значит дать себе повод передумать.

Из-под её локтя я смотрел назад. На прилавок, на мясника, уже вернувшегося к своим тушам.

И тут он нас окликнул.

Она стала, обернулась. Мясник держал ту самую телятину — он выудил её из лужи и обтёр о фартук. Протянул. Слов я опять не понял, но жест понятен и кошке: он отдавал мясо. «Всё равно не продам, — читалось на нём, — кому оно после лужи». Под конец буркнул что-то вслед, уже отворачиваясь, — из тех ворчливых напутствий, которыми люди прикрывают, что на самом деле им не всё равно.

Она взяла кусок. Убрала в сумку, не торопясь, бережно. Сказала ему короткое — и пошла дальше.

А я глядел из-под чужого локтя, как уплывает рынок: прилавки, крыши, мясник, уже забывший о нас ради другого покупателя. Глядел и не понимал, что это уплывает не рынок. Это уплывала вся моя прежняя жизнь — тихо, без прощаний, под мерный шаг незнакомой женщины. Я тогда думал: перебыюсь денёк под тёплой крышей, отъежусь да уйду.

А оно вон как меня в итоге занесло. Полакомился, называется, телятиной.

Её, кстати, тут тоже нет. Телятины-то. По крайней мере, на здешнем рынке она мне пока не попадалась — ни на глаз, ни на нюх. А я бы не отказался сейчас от такого...

Глава 3. ...и я член семьи

После того, как тебя много раз обманывали и бросали — очень сложно снова кому-то поверить. И всё равно верить хочется. Очень хочется...

Заметки чёрного кота

Через сколько дверей я прошёл за свою жизнь — не сосчитать. Среди них есть такие, в которые хотелось бы вернуться, и такие, о которых и вспоминать не хочется. Дверь этого дома открылась внутрь, в тесный коридор, — и меня опустили на пол.

Дом я учуял раньше, чем разглядел. Первым — тепло. Не тепло подъездов, которое греет шкуру и больше ничего, а домашнее, плотное, с запахом. За теплом — слоями: что-то варёное, самую малость пригоревшее, кислинка, мыло. И ещё одна нитка — тонкая, чужая всему остальному, горьковатая, лекарственная. Тянуло ею из глубины квартиры, из-за закрытой двери.

Прихожая была тесная: пара крючков, один плащ, один шарф. Пол деревянный, и под третьей от порога половицей он скрипнул, когда она прошла. Такие вещи я запоминаю сам собой, на автомате: скрипнуло в дальнем конце дома — а ты уже знаешь, пересидеть ли под диваном, пока внуки не уедут, или идти помогать разбирать пакеты, — однозначно ведь что-то да перепадёт. Я же так-то не всегда был дворовым. Были и у меня счастливые денёчки.

Она поставила сумку. Мясо унесла на кухню.

Дом был тихий. Но не той пустой тишиной, когда в стенах никого, — а той, что стоит, когда кто-то есть и просто не шумит. Две очень разные тишины, даже если вам не доводилось их различать. Сверху, из-за ещё одной двери, сочилось что-то мерное, чуть слышное. Там, наверху, кто-то был и не выходил.

Забегая вперёд, их жило трое в этом доме. Мальчика звали Миша — он запомнился мне больше всех и не с лучшей стороны. Приютившую меня женщину звали Ольгой, а её мужа — Сергеем. Это, в общем-то, к истории большого отношения не имеет, но так мне будет проще рассказывать. А меня они называли Барсиком.

Я пошёл на кухню следом — не оттого, что позвали, а оттого, что где мясо, там и я; голодному коту иных резонов не нужно. Кухонька была маленькая: стол, две табуретки, в углу кресло с продавленным боком — чьё-то насиженное место, обмятое под хозяина. На подоконнике — горшок с какой-то зеленью, земля тёмная, влажная, недавно политая. За ней в доме кто-то явно следил. Это я отметил особо: где траву в горшке поливают, там, глядишь, и кота не оставят голодным.

Ольга достала нож — старый, но исправный: резал чисто, я понял это по звуку, мясо не рвалось, а поддавалось. Отрезала кусок, положила на блюдо и поставила передо мной. А сама отвернулась к окну.

Вот это, скажу я вам, дорогого стоит. Иной сунет тебе еду да и встанет над душой смотреть, как ты ешь, будто за представление платил. А сытость чужих глаз не любит. Не знаю, понимала ли это Ольга, но за то, что дала спокойно поесть, — спасибо. Я ел не торопясь, с достоинством, хоть внутри всё подвывало с голодухи. Телятина была хороша.

Поел, умылся. Ольга глядела на меня от окна и что-то приговаривала — негромко, тепло, перебирая слова, будто примеряла их по очереди. Я, понятно, не понимал ни единого. Но одно она сказала дважды, потом и в третий раз, и стало ясно: это она меня так зовёт. Барсик. Глупое слово, тёплое. Я на своём веку отзывался на всякое — отозвался и на это.

Пока в доме было тихо, я обошёл его, как обхожу всякое новое место, — понизу, по стеночке, по углам. Каждая вещь что-нибудь да расскажет, надо только уметь слушать носом. У порога недавно стояла обувь побольше да потяжелее — хозяйская. В комнате под диваном

— пыль, коробки и одна детская сандаля, одна, без пары; пара, видать, потерялась давно. На кухне, в углу, стоял тесный рядок пузырьков и коробочек. Так не держат то, что выпил разок и забыл, — так держат то, с чем в доме живут давно и уже не спорят. А поверх всего, ровно и без усталости, тянуло из коридора той лекарственной ниткой — из-за двери, что была закрыта. Я постоял у неё, понюхал щель понизу. И не пошёл. Закрытые двери — это вопросы, а вопросы я научился задавать в своё время, не раньше.

Место для сна нашлось само, как всегда находится у того, кто умеет искать. Между холодильником и стеной был тёплый зазор: пол там грелся сильнее всего, гудело ровно, по-домашнему, и в тот угол никто не смотрел. Тепло, тихо, не на виду — три вещи, которых уличному коту вечно недостаёт. Я втиснулся, повернулся, как положено, раза три и лёг.

Ольга прошла мимо, увидала меня в щели, приостановилась. Сказала что-то — не «брысь», по тону скорее «ну и лежи». И пошла дальше.

Я закрыл глаза и подумал, что первый день, считай, прожил не зря. А сносных дней мне последнее время выпадало негусто — грех было не порадоваться.

Разбудил меня замок. Два оборота, тугих и плотных. За окном уже стемнело, на кухне горел свет, пахло горячим. Ольга стояла у плиты.

Вошёл Сергей. Большой — по обуви у порога я предполагал, что хозяин крупный, но не настолько. Высокий, плечистый, и поверх всего — усталость, до того давняя, что он её уже не носил, а врос в неё, как вырастают в старое пальто. Он постоял в прихожей тот лишний миг, какой берут себе люди на пороге, перед тем как из уличного снова сделаться домашним. Разулся, повесил пальто, не глядя нащупав крючок. Пошёл на кухню. И увидел меня.

Я сидел посреди коридора и смотрел на него снизу.

Он остановился. Поглядел на меня, поглядел в сторону кухни, сказал туда пару слов — ровных, тяжёлых, без всякого ко мне любопытства. Ему ответили так же ровно. Он ещё раз смерил меня взглядом и, видимо решив не тратить на меня ни времени, ни внимания, пошёл мыть руки.

Я его сразу за это зауважал. От Сергея не веяло по мою душу ни злом, ни добром: ни пнёт, ни приласкает — просто не заметит, и всё. А в таком «не заметит» коту и дышится вольнее всего. Плохо, когда от тебя чего-то хотят. А когда ты сам по себе — что может быть лучше?

Наверху скрипнуло, простучало — Миша, видимо, услышал отца и сбежал вниз. Быстро, не глядя под ноги, как бегают там, где всё своё и каждая ступенька знакома. На нижней ступеньке остановился.

Я смотрел на него снизу вверх. Он на меня — сверху вниз. И в лице у него что-то изменилось, словно щёлкнуло внутри. Не страх — страх я чувствую за версту. И не радость. Так смотрят на грязь, которую натащили в дом на чужой подошве.

Дальше пошло то, что у людей называется разговором, а по мне — перепалка, которую я читал без всяких слов. Миша бросил матери что-то резкое, мотнув в мою сторону. Ольга ответила коротко, от плиты, не оборачиваясь. Он наседа, голос лез вверх — и звенело в нём то самое, чем молодой в стае пробует старших: докуда можно, где осадят. Только метил он не в меня. Я был просто поводом. Бил он в мать — и смотрел при этом, крепко ли она стоит.

Тут Сергей, уже усевшийся за стол и мыслями где-то не здесь, обронил одно слово. Тихо. Но так роняют то, что говорят редко, — и оно легло поперёк стола тяжелее всей Мишиной трескотни. Мальчик смолк. Сел, локти на столешницу. В кастрюле булькнуло, и стало почти тихо.

Пока ждали ужина, как я понимаю, обсуждали меня. Предполагаю, что и историю нашей встречи Ольга рассказала, возможно, немного приукрасив. По тону и отдельным словам уверен, что выставлен я был не воришкой, а бездомным горемыкой. Мальчик же был настроен ко мне недобро: постоянно бросал злые взгляды в мою сторону и вставлял свои пять копеек в разговор с интонацией, которая явно не могла значить ничего хорошего.

А после за столом зашла речь о чём-то, что касалось мальчика — о чём именно, мне понять было не дано, да и не надо: людей я читаю вернее, чем слова. Ольга на этом напряглась, подобралась, как подбираются, когда заденут больное. Чего-то она за день не успела, чего от неё ждали. Сергей спросил — не зло, привычно, как спрашивают изо дня в день. И она ответила тем ровным, гладким голосом, каким говорят, когда давно уже не ждут, что спросят по-доброму, а не по делу.

Она раскладывала ужин по тарелкам — поровну, никого не обделив. Я смотрел на неё из своего угла и думал о своём, по-кошачьи. Это ж надо, как удачно я в то утро украл ту телятину. Не укради — не пнули бы. Не пнули бы — она бы не вступилась. Не вступилась бы — лежать бы мне сейчас под рыночным настилом, на голых досках, а не в тепле у чужого холодильника. Кривая вышла дорожка — а вынесла, куда надо.

Пужинали — и разошлись быстро, привычно, будто по уговору, которого вслух никто не давал. Сергей ушёл в комнату; за стеной что-то забубнило, замигало синеватым из-под открытой двери. Миша поднялся к себе — третья ступень скрипнула под ним так же, как под всеми. Ольга осталась на кухне одна.

Прибиралась она молча. Тарелки, кастрюля, стол. Погасила верхний свет, оставила нижний, у окна, — жёлтый, негромкий. Постояла, глядя в раковину на что-то, чего там не было. Потом тоже ушла.

Я остался.

В темноте было хорошо. Тепло, тихо, ровно гудит под боком. Я растянулся у тёплого, и день этот казался мне уже совсем неплохим.

Шаги я расслышал прежде, чем скрипнула ступень.

Миша спускался тихо, осторожно — так крадутся, когда не хотят, чтоб спросили, куда идёшь. Прошёл коридором, толкнул кухонную дверь. Увидел меня. Я не шевельнулся.

Открыл холодильник, постоял в его белом свете, достал что-то, отрезал, закрыл. Повернулся. Поглядел на меня, поглядел на кусок в руке — и опустил его на пол передо мной.

Запах ударил раньше, чем я нагнулся. Поверх мяса — горчица. Густо, от души, с такой старательностью, что хуже всякой небрежности. Так угощение не кладут. Так ставят ловушку и ждут, когда в неё сунутся.

Я и не сунулся.

Миша что-то сказал — негромко, с той гадкой, довольной усмешкой, какая бывает у того, кто заранее смакует чужую беду. Он ведь не накормить меня спустился. Он хотел представление: думал, я с голодухи накинусь на мясо, а потом стану фыркать да давиться — ему на потеху. За тем и крался среди ночи, тайком от отца с матерью. При них выжить меня из дома не вышло — так хоть отыгаться, пока никто не видит.

Только я не накинусь. Сидел и смотрел на него, и долго мы так гляделись — старый потрёпанный кот, который от людей и не такое видал, и избалованный мальчишка, которому я явно был не по душе.

Потехи не вышло — и это его задело, я видел, как задело. Он поднял кусок с пола, швырнул в мусорное ведро, уже не пряча досады. Такие, как он, злятся не оттого, что сделали гадость, а оттого, что гадость не удалась.

Напоследок бросил мне в спину что-то короткое и недоброе — такое и переводить не надо — и ушёл.

Ступени скрипнули. Стихли.

Я остался один. Горчица ещё висела в воздухе — кислая, злая. Зла на мальчишку я держать не стал — но вот ближайшее будущее теперь уже не казалось мне таким радостным, как минуту назад.

Я ещё тогда подумал, что надо бы с ним поосторожнее, а то нахлебаюсь ещё из-за него. И, как оказалось, был прав — хотя совсем не так, как думал.

Что-то я слишком углубился в свой рассказ — сейчас перейду к сути. А то наверняка уже наскучила вам моя незатейливая кошачья история. Скучаю по тому миру — вот и увлёкся. Ну так вот...

Глава 4. ...и я спаситель

Не нужно недооценивать важность тапка в отношениях кота и человека. По траектории полёта тапка можно достаточно чётко предсказать настроение хозяина. Да и если хозяин неправ и не может признать своей вины — гораздо проще простить его, «излив» душу прямо в его тапок...

Заметки чёрного кота

Сколько я прожил в том доме — считать не стану. И не оттого, что нечего вспомнить: как раз есть. Всякого хватало — и доброго, и не очень. Просто думаю, это для меня интересно, а для вас, наверное, скучно такое будет слушать. Так что постараюсь коротко — и только то, что имеет отношение к моему текущему положению дел.

К людям я прикипаю туго. Жизнь меня от этого отучала так старательно, что, казалось, отучила насовсем. Да только дом — штука хитрая. Он берёт не лаской, а привычкой. Сегодня тебя пустили на порог, завтра поставили блюдце на то же место, послезавтра ты уже знаешь, в котором часу щёлкнет замок и чьи это будут шаги, — а там, глядишь, и ловишь себя на том, что ждёшь их. Вот тут тебя, считай, и взяли. Тёпленьким.

Сам не заметил, как прирос к Ольге. С ней было просто: она ничего от меня не хотела. Не тискала, не сюсюкала, не звала, когда мне не до того. Просто была рядом — ровно, изо дня в день, — и этого, оказывается, вполне хватает. Я грелся у её ног, когда она чистила картошку, и нам обоим так было хорошо.

С Сергеем вышло дольше. Этот меня поначалу в упор не видел — я рассказывал. Но человек, который тебя не трогает, рано или поздно тоже становится своим, надо только подождать. Однажды вечером он, не глядя и будто между делом, подвинулся в своём продавленном кресле — освободил угол. Я запрыгнул. Он не согнал. С того дня угол был мой. Если так подумать, он за всё время ни слова мне не сказал — да и, наверное, ни к чему они были? И без слов всё было ясно.

Сейчас я с большим теплом вспоминаю обычные, казалось бы, вечера. Свернёшься калачиком в своей клетке, закроешь глаза — и представляешь, как это было. Ольга что-то пекла, и по всему дому стоял тёплый сладкий запах. Сергей сидел в кресле, и лицо у него было не такое серое, как обычно. Даже сверху, из-за Мишиной двери, доносилось что-то живое — не то музыка, не то смех. Я лежал в своём углу, сытый и в тепле, и слушал, как дом живёт. Обычный вечер. Кажется, такие и не запоминаешь — пока они сменяют друг друга изо дня в день.

И Мишу я вспоминал сейчас без злобы и обиды, хотя мы с ним так и неладились. До самого конца. Он меня терпел, я его — и оба, думаю, считали это вынужденной сделкой.

Тут надо вам сказать одну вещь, без которой дальше не понять.

Миша болел. Давно, тяжело, по-настоящему. Та лекарственная нитка, что тянулась из-за закрытой двери в первый мой вечер, — это была его. Он оттого и рос таким: как больному, дозволено ему было почти всё, и почти всё прощалось. А такое сильно меняет характер человека — так, что после уже и не факт, что исправишь чем-либо. Его жалели — и зажалели. Бывает.

Задевал он меня всё так же, стоило взрослым отвернуться: то ногой спихнёт с прохода, то на лапу наступит, то дверью хлопнет перед самым носом, да так, что в ушах зазвенит. Я старался не злиться, но получалось не всегда.

Но один раз я увидел его совсем другим. Ночью ему стало плохо. Я услышал сквозь сон, как наверху забежали, зажёгся свет, потянуло горьким лекарством. Поднялся по лестнице — что обычно делал редко — и заглянул в приоткрытую дверь. Ольга сидела у кровати и держала его за руку. А он лежал маленький, потный, и не было ему сейчас никакого дела ни до меня,

ни до своих пакостей. Просто испуганный больной ребёнок. Я постоял тогда немного и ушёл, а он меня даже не заметил.

А Ольга с Сергеем его любили. Вот как умеют любить только тех, за кого бояться. Тихо, изо всех сил, не показывая виду. Весь их дом, если разобраться, стоял на этой любви, как на сваях, — и держался ею, пока было кому держать.

А ещё Ольга иногда сидела со мной по ночам. Не спалось ей. Придёт на кухню, зажжёт лампу у окна, сядет и говорит — тихо, скорее себе, чем мне. Слов я тогда не понимал, да ей и не надо было, чтоб я понимал. Ей надо было, чтоб кто-то просто был рядом.

Я ложился у её ног. Так и сидели.

Под конец мальчику стало хуже.

Я почувствовал это раньше, чем в доме сказали вслух. Беду я чувствую — это у меня не отнять. Запах в комнатах сделался гуще, лекарственная нитка — толще, а поверх неё легло то, чем пахнет страх: кисло, остро, неотступно. Им пропиталось всё. Им пахла Ольга, когда среди ночи шла по коридору. Им пахли стены.

А потом был тот вечер. Не уверен, что когда-либо смогу это забыть.

В дом приходили чужие. Быстрые, в холодной уличной одежде, с руками, что пахли тем же, что и за закрытой дверью. Ходили туда-сюда, говорили коротко и негромко — а громче слов кричало то, как они двигались. Я сидел в своём углу у холодильника и читал этот вечер, как умел, — по шагам, по голосам, по тому, как у Ольги дрожали руки, когда она ставила на плиту чайник, до которого так никто и не дотронулся.

А после чужие ушли. И в доме настала та тишина, какой я не пожелаю никому. Не пустая и не спокойная — а та, что встаёт, когда сделали всё и больше делать нечего.

Ольга сидела у его двери, на полу, привалившись к косяку, и тихонько плакала.

Я подошёл. Сам не знаю зачем — меня туда не звали, и делать мне там было нечего. Просто ноги сами понесли. Дверь была приоткрыта. Я скользнул в щель.

Дальше я расскажу, как сам это после понял. Тогда всё было как не со мной.

Мальчик лежал и почти не дышал. От него тянуло уже не болезнью — тянуло тем самым, последним, чего, наверное, никто, кроме кошек, чуют не умеет. И вот что забавно: я ведь его не любил. Так и не полюбил за всё время, что пришлось прожить вместе. А всё-таки запрыгнул на постель, прошёл по одеялу и лёг ему на грудь — туда, где под рёбрами заходило и сбивалось.

Зачем — не спрашивайте. Не ради него точно. И не ради себя. Должно быть, ради неё — той, что сидела за дверью и вытирала слёзы промокшим рукавом. Просто так у нас, котов, заведено: где болит, туда и ложимся. Лежим и тянем в себя всё плохое, пока есть чем тянуть.

Говорят, у нашего брата девять жизней.

Я всегда считал это людской выдумкой — из тех, что придумывают, чтоб не так совестно было швырять в котика камнем: одной, мол, обойдётся, у него их вон сколько. Враньё, думал я. А оказалось — может, и не враньё.

Случаев, когда я был на волосок от смерти, набралось немало — да кто их считал, всех уже и не упомяну. Одну жизнь оставил под колёсами, другую — в драке за тёплый подвал, третью — когда мальчишки во дворе придумали забаву, о которой лучше не вспоминать. Так, по мелочи, по одной, не считая. Я и не считал — чего считать-то, когда им и счёту нет. И всякий раз ощущение было одно и то же: всем телом чувствуешь, что всё, кончено, — а потом каким-то немислимым образом выкарабкиваешься... Только не в этот раз.

Похоже, в тот вечер как раз и подошла девятая...

И вот в чём вся штука: я ведь ничего не делал нарочно, с умыслом. Не знаю, как оно вообще работает. Я просто лежал у Миши на груди, я просто хотел помочь, я просто переживал за Ольгу. И вдруг — почти то же ощущение, что тогда, под машиной. Меня словно куда-то провалило. Куда-то, откуда уже нет пути назад. Вокруг не было ничего — а всё равно было

страшно, холодно и пусто. И только одно отдавало в этой пустоте далёким теплом: я почему-то знал, что с мальчиком теперь всё будет хорошо...

Глава 5. ...и я избранный

Незаслуженная вторая попытка — отличный шанс наступить на те же грабли ещё раз, да так, что прилетит вдвойне — по уже ушибленному. Так что если шанс выпал, убедись, что выводы сделал верные...

Заметки чёрного кота

Дальше пойдёт такое, что я и сам, пока рассказываю, нет-нет да усомнюсь: со мной ли это было — или приснилось под забором после несвежей рыбы. Но было. За что купил, за то и продаю.

Не знаю, сколько я падал. Там, куда я провалился, времени не было вовсе — а где нет времени, там и считать нечего.

Первое, что я понял: я ничего не чувствую.

Вам этого, наверное, не объяснить. Человек живёт глазами: отними у него зрение — он и пропал. А наш брат живёт носом. Запах для кота — это и есть мир. Где еда, где враг, где свой, где час назад прошёл чужой кот и оставил вместо письма метку на углу. Я всю жизнь читал мир носом, как вы читаете буквы.

А тут — ничего. Ни тепла, ни холода, ни гари, ни сырости. Серое, ровное, пустое нигде, без углов и без края. Будто отняли у меня не нос, а сам мир и оставили в комнате, у которой нет ни стен, ни запаха.

Что я умер — понял сразу. Это, против ожидания, оказалось не страшно: к старости я с этой мыслью свыкся, мы, коты, на сей счёт спокойнее вашего. Удивляло другое. Я-то думал, после смерти не будет ничего. А тут хоть и пусто, да я — есть. Как будто сижу посреди этого серого нигде и сам себе удивляюсь.

А почему сижу? Как можно сидеть в пустоте?.. Но по ощущениям — именно сижу. А потом мир словно стал проступать перед глазами, и я увидел, что я и впрямь где-то сижу, и притом не один.

Мир вокруг пока держался полупрозрачной дымкой, но с каждым мгновением она делалась всё гуще и реальнее. Я осмотрелся — и понял, что сижу в каком-то круге, а рядом, спиной ко мне, стоит женщина.

Самая обыкновенная — по крайней мере, со спины. Могла бы сойти за любую из тех, что толкаются на рынке у мясного ряда. И всё бы ничего, да только одно меня сразу насторожило, даже там, где носу делать было нечего: от неё не пахло. Совсем. От человека всегда чем-нибудь да тянет — потом, хлебом, страхом, кошкой, прожитым днём. От неё — ничем. Так не бывает. И всё же она стояла передо мной.

Она водила руками перед собой, будто перебирала в воздухе что-то, чего я не видел. И бормотала. Себе под нос, недовольно — как бормочет хозяйка, разбирая лежалый товар.

И тут случилось самое необычное в моей жизни — я её понял.

Не тон. Не настроение. Слова.

— Не густо, — проговорила она брезгливо, не оборачиваясь. — Я-то думала, характеристики у тебя будут получше. Ну да ладно, поправим. Ум вот сюда подвинем...

В этот миг у меня в голове словно прибавили места — много места; до того странное ощущение, что не передать.

— Не обращай внимания, если плохо пока меня понимаешь, — продолжала она, не оборачиваясь. — Я говорю на совсем другом языке, но теперь ты будешь понимать их все, дай только мозгам немного привыкнуть. Не благодари, — добавила она таким тоном, что благодарить как раз стоило бы, а я, неблагодарный, этого не сделал.

Она между тем всё возилась со своим невидимым хозяйством.

— Ловкость... — она вдруг хмыкнула, чуть ли не с одобрением. — О, а ловкость-то у тебя очень даже ничего. Не ожидала, даже удивил. Силы сейчас тоже добавить нужно будет, чтоб тебя там в первый же день не пришибли... — Она вдруг запнулась, будто наткнулась на что-то. — Это ещё что такое... Хм. Ладно, потом разберусь, некогда. Что молчишь, представляться не учили? — добавила она уже довольно грубо и в этот самый миг впервые обернулась ко мне.

Сказать, что глаза у неё округлились, — значит не сказать ничего.

— Это что ещё за?! — сказала она, хотя «сказала» — это я из вежливости. Заорала. Так заорала, что я подскочил на месте. Я в жизни орал так же, наверное, лишь однажды — когда мне прищемили хвост дверью.

Перед ней сидел я. Обычный кот, невесть как затесавшийся туда, где меньше всего ждали кота.

Она подалась вперёд, всмотрелась — будто не веря собственным глазам. Потом зашарила взглядом поверх меня, по сторонам, за спину: искала кого-то, кто вот-вот выйдет. Никто не выходил. Выходить было некому.

— Нет. Нет-нет-нет, — забормотала она, и голос пополз вверх. — Где мальчишка? Где он? Этого не может быть.

Руки её снова заматались в воздухе — быстро, дёргано, как шарят впотьмах по полу, обронив что-то нужное. Я сидел и помалкивал. А что тут скажешь — я, может, и не орал, как она, но в шоке был уж точно не меньше её.

— Так. Спокойно. Откатываем, — приговаривала она себе под нос. — Отменяем перенос, возвращаем как было, и... — Она словно из воздуха достала какую-то книгу и судорожно начала листать, всматриваясь в отдельные страницы. — Да как так?! — выпалила она, с силой швырнув книгу на пол. Книга не долетела до пола — словно снова растворилась в воздухе. — Процесс необратим... — буркнула она себе под нос, будто ставя точку.

Тут она наконец посмотрела на меня. По-настоящему — как смотрят на испорченную вещь, прикидывая, с кого бы спросить.

Спросить, по совести, было не с кого, кроме как с себя. А это, я заметил, мало кто любит — что люди, что боги.

Что со мной приключилось, я и сам потом сообразил — не сразу, но сообразил. Ловушка её настроена была на того, кто отходит в свой последний миг. А я в этот самый миг лежал на груди у мальчишки и тянул в себя его смерть — стало быть, отходил-то я. Меня и подцепило. Не того, кто оставался жить, — того, кто умер.

Меня.

Радости ей такая замена, понятно, не доставила.

Сперва она кинулась поправлять — отыграть хоть что-нибудь назад. Я почувствовал, как из меня что-то тянут, будто шкуру сдирают, только изнутри. До дрожи, скажу вам, неприятно. Да без толку: что успела вложить, то уже приросло.

— Намертво, — процедила она, оставив это дело. — Всё намертво. Это ж надо было так оплошать.

И вот тут её прорвало.

Не на меня — куда там. Я для неё был пустым местом, живой мебелью, на которую и злиться-то унизительно. Она ходила кругами и бранилась — сама с собой, сама на себя, как бранится всякий, у кого долгий, кропотливый труд в один миг пошёл прахом. А я сидел в своём круге и слушал. Деваться было некуда — оставалось только слушать и ждать, какую участь она мне уготовит.

— Столько лет. Столько лет коту под хвост! — Она запнулась, глянула на меня, будто это я подсунул ей такое сравнение, и скривилась ещё сильнее. — Ты хоть понимаешь, сколько я его искала? Куда тебе. Я их тысячами перебрала. Мне ведь не всякий годился — злого мало,

злых пруд пруди. Мне нужен был тот, кто, имея бесконтрольную власть, сможет загубить целый мир. Чтоб дрянь в нём всходила, как сорняк, и чтоб никто не смог его исправить. Мальчишка был хорош. Идеален! А теперь что? Теперь всё заново.

Она остановилась. И заговорила тише — а от тихого её голоса мне сделалось куда неуютнее, чем от крика.

— А всё она. Всё из-за неё.

Кого она так ругала, я тогда не знал. После узнал: ту, другую — хозяйку мира, куда меня вот-вот закинет. Аэрой её зовут. Но злости в этом коротком «она» было больше, чем во всей прежней брани, вместе взятой.

— Ей же всё легко, — цедила она. — Что ни возьмётся слепить — выходит загляденье. Вот скажи: дали нам поровну. Одну и ту же глину, одно и то же время — лепи свой мир, твори, старайся. И что? У неё вышло — живое. Тёплое, дышит, цветёт, само себя кормит. Твари в нём плодятся, поют, на неё не нарадуются. А у меня? — Голос её сорвался. — А у меня вышел камень. Голая стылая пустошь, где ветер гоняет пыль да живой души не сыщешь. Уж я в неё вкладывала, вкладывала — а она как лежала мёртвая, так и лежит. И ведь не лень мне было, не лень! Просто... не выходит. У неё выходит, а у меня — хоть тресни. Чем я хуже-то? Чем?!

Она перевела дух. И сама же себе ответила — тихо, ровно, и от этой ровности по мне пробежал холодок:

— Ничем. Вот то-то и оно, что ничем. А раз так — поглядим, как ей запоётся, когда в её распрекрасном садике всё пойдёт прахом. Изнутри. Тихонько. И без единого моего следа.

Накричавшись, она будто выдохлась. Постояла, потёрла висок — и принялась рассуждать вслух, уже спокойнее, деловито, как прикидывают, нельзя ли спасти то, что ещё не вконец пропало.

— Ладно. Ладно. Не впервой начинать с нуля. — Она вытащила из воздуха ту свою книгу, зашелестела страницами. — Братъ, как всегда, у Геи. В её мирке этого добра — злого, порченного — хоть лопатой гребь, на любой вкус. — Она поморщилась, будто само имя Гея ей было не по нутру. — Да и чисто выходит. Всплыви потом хоть краешек — кивну на Гею: не моё, мол, отродье ей сад подъело, а земное. Вот пусть с хозяйки той земли и спрашивают. Посмотрим, что тогда с их дружбой будет. Все такие правильные — тьфу!

— Только вот всё по новой начинать. Найти, выходить, влить знание языков, накрутить характеристики, переправить. Время-время-время. — Она с досадой захлопнула книгу. — А где я возьму другого такого же? Тот был один на миллион.

Она покосилась на меня — без всякой надежды, просто потому, что я подвернулся под взгляд.

— А с тебя, ясно, толку как с козла молока.

Эту Гею я тогда услышал впервые. После сложил: так зовут хозяйку моего родного мира — той самой Земли, где я воровал телятину да грелся у чужих холодильников. Выходит, меня вместо мальчишки Вэсс выдернула из-под носа у Геи. Да так ловко, чтоб, если что, под Гею же всё и подвести.

А ещё я понял, кого она всё это время звала «своим мальчиком». Единственного на миллион — того, кого готовила бросить гнилым семечком в чужой цветущий сад.

Мишу.

Того самого Мишу, на груди которого я только что лежал. За которого, не торгуясь, отдал последнее, что у меня было.

Хороша шутка, а? Думал, что спасаю ребёнка, — а спас, выходит, целый мир. Ведь пока мальчишка жив и дома — переносить ей некого, и чужому саду ничего не грозит. Весь её хитрый замысел об меня и споткнулся.

Ненадолго, правда. Такие, как она, не отступаются: подыщет другого, подготовит, перенесёт — дело времени. Так что не спас я тот мир. Только отсрочил ему беду.

И ведь не в спасители я лез — куда там. Знать не знал ни про миры, ни про богинь с их склоками. Просто не мог иначе. Из-за неё, из-за Ольги. А что целому миру я этим срок отодвинул — так оно само вышло, меня не спросив.

Вот так я и сделался тем, кто я теперь есть.

От всей её возни кое-что на мне так и осталось — намертво, не отодрать. Чужую речь с того дня понимаю любую: что при мне ни скажут, на каком языке ни залопочут — пойму до словечка. Сделался поудачливее обычного кота, хоть с виду всё тот же Барсик, краса дворов и гроза помоек. Да ещё думать стал больше прежнего — на свою же голову. А вот силу добавить, видать, не успела — обернулась рано: лишней силы я в себе так и не почувял.

Да и говорить как не умел, так и не научился. А с новыми-то мозгами это бы мне ой как пригодилось.

И вот с таким приданым — да ещё с её тайной в придачу — я и остался. Один на всём свете знаю, что тёплый, ни в чём не повинный мир задумали извести под корень. Знаю кто. Знаю как. Знаю, что это только начало.

И рассказать об этом ни одной живой душе не могу. Да и... нужно ли оно мне? Дело-то небыстрое, наверное, — на мой век спокойной жизни, глядишь, ещё и хватит.

Вот только додумать мне эту весёлую мысль не дали.

Круг подо мной вдруг налился светом.

Тот самый круг, в котором я всё это время сидел. На что он, я тогда не знал — это уж после смекнул. Штука нехитрая: сперва он вытягивает только что умершего в это пространство между мирами, в серую пустоту, придержит на время — а как время выйдет, переправляет дальше, в тот мир, ради которого всё и затевалось. Своё дело круг выполнял исправно. Чего он не знал — точнее, о чём в горячке начисто забыла сама Вэсс, — так это что время-то моё здесь как раз и вышло.

Спохватилась она поздно.

— Стой! Стой, нет, погоди, его же ещё не!.. — Она метнулась ко мне, протянула руку.

Не успела.

Свет хлынул со всех сторон, серое нигде дрогнуло, поплыло — и меня выдернуло вон. Прочь от неё, мимо, сквозь, в никуда. Последнее, что я успел поймать, — её лицо. Впервые за весь тот день на нём была не злость, а оторопь. Лицо той, что собственными руками отправила единственного свидетеля туда, куда не нужно.

И тут на меня разом обвалилось всё, чего я только что был лишён.

Запах. Тысяча запахов сразу — оглушительных, незнакомых; нос мой захлебнулся и чуть не лопнул от счастья. Свет. Холод живого, настоящего воздуха. Мокрая трава под брюхом. А над головой — небо, какого я прежде не видел: чужое, и звёзды на нём стояли не так. Совсем не так, как над моим рынком.

Я лежал в сырой траве под чужими звёздами, живой, и голова шла кругом от одного того, что я снова хоть что-то чувю.

А где-то совсем рядом уже трещали ветки. Кто-то шёл.

И этот кто-то, скажу сразу, был не из приятных. Но это уже совсем другая история — та самая, с которой, если помните, у нас с вами всё и началось. С прутьев клетки, соломенной подстилки да тугой щеколды...

Глава 6. ...и я монстр

Самый страшный зверь не тот, который с большими зубами и острыми когтями. Самый страшный зверь — тот, которого ты сам себе придумал...

Заметки чёрного кота

Ну вот мы почти и добрались до того момента, как я оказался за решёткой.

Лежал я, значит, в траве. Живой — и сам себе не вполне веривший. Понемногу собрал лапы под себя, поднялся. Качнуло. Тело слушалось, но как-то с запинкой, будто я в нём гость, а не хозяин.

Я огляделся.

Место было — тихое и мрачное. Не такое, где никогда никого не было, а такое, где когда-то было много кого, а потом не стало. Огромные камни, обтёсанные чужой рукой, лежали где как — иные стоймя, иные грудой. Сквозь них пробивалась трава, и это говорило яснее всего: давно. Очень давно никому тут не было дела до травы.

Пахло холодным камнем и мхом. И ещё чем-то под низом — слабым, сладковатым, почти выдохшимся, будто давным-давно тут жгли что-то душистое, а запах с тех пор так до конца и не выветрился из щелей.

Это потом я смекнул, как оно устроено. Тот круг, что меня сюда забросил, кидает не куда попало. Тянет в места, где когда-то была сила, — а теперь сила ушла, остались одни камни и круг. Именно в такие места тянет тех, кто не прочь пожить там, где когда-то было богатство. Стервятники, если по-простому.

Вот двое таких ко мне и шли.

Я их учуял раньше, чем услышал. Запах двуногих я разбираю не хуже, чем вы — лицо знакомого в толпе. От первого тянуло железом, кожей. Тяжёлый шаг, низкий, вразвалку. Второй и шага-то почти не давал — лёгкая, бесшумная тень, что ступает так, словно земля ей задолжала.

Шли крадучись. Перешёптывались.

— ...говорю тебе, тут уже всё выгребли до нас.

— А вдруг не всё? Не причитай. Раз уж тут — давай всё проверим. Зря, что ли, перлись в эту даль на ночь глядя?

И — вот оно, главное. Я их понимал.

Не тон, не интонацию — сами слова. Будто всю жизнь так и слышал. Я даже замер: до того это было дико. Слова входили в голову прямыми, готовыми, со смыслом наперевес, и от этого было не по себе сильнее, чем от чужих звёзд над головой.

А потом темноту разрезал огонь.

Факел. Низенький, широкоплечий поднял его повыше — и свет дополз до меня. Скользнул по камням, по траве. И уткнулся мне в морду.

Что бывает с моими глазами в темноте, я вам уже рассказывал. Два жёлтых уголька. Дома на них никто и внимания не обращал — кот и кот. А тут...

А тут низенький побелел.

Факел в его руке заходил ходуном. Колени у бедняги подломились, и он осел на камень, хватая ртом воздух. Свободной рукой он торопливо провёл двумя пальцами от брови к подбородку — сверху вниз, будто что-то с лица стирал. Я этот жест после видел не раз. Так здешние отгоняют беду.

— Грайв, — выдохнул он одними губами, и в голосе у него не осталось ничего от прежнего храбреца. — Грайв, чтоб меня...

Эльфийка тенью метнулась за камень. Прижалась спиной, замерла.

— Не дыши, — шепнула она. — Может, не тронет. Может, мимо.

Гном тоже попытался спрятаться, но вышло не очень. Он с лязгом брони и кряхтением грохнулся за ближайший камень. Судя по хлюпающему всплеску — с большой вероятностью в лужу или грязь.

Факел, падая, он то ли выронил, то ли воткнул — тот теперь криво торчал из грязи и всё горел, исправно освещая картину.

А картина была такая. Два матёрых охотника за чужим добром — один вжавшись в камень, другой увязнув в луже — приготовились тихонько умирать. Молились, должно быть, каждый своему: чтоб страшный зверь с горящими глазами выбрал кого-нибудь другого.

Раньше я бы, наверное, не придал такому значения, но теперь голова моя словно работала по-другому. Эти двое чего-то испугались, сильно испугались, глядели в мою сторону — значит, у меня за спиной... Я никого не ощущал и не чуял, кроме этих двоих, но мысли неслись быстро, связно, логично. Я тоже сделал рывок к ближайшему камню и притаился, вглядываясь в пустоту, которая раньше была у меня за спиной.

И знаете, что я там, во тьме, высмотрел?

Ничего. Ровным счётом ничего.

Так мы и замерли: двое за камнями, один в луже — и каждый таращился во тьму, ожидая, что вот сейчас оттуда шагнёт погибель. Развалины молчали. Факел потрескивал в грязи. Чужие звёзды перекатывались над головой и в наши дела не лезли.

Новая моя голова исправно рисовала мне один ужас страшнее другого. А нос — молчал. Нос, доложу я вам, штука честная, его так просто не обманешь: будь там, во тьме, хоть что-то живое, я учуял бы его раньше, чем успел испугаться. А там не было ничего. Холодный камень да мокрый мох.

Это и был первый урок, что преподавал мне новый мир: голова пускай себе думает, а верь носу.

И стоило страху схлынуть, как нос занялся делом поважнее. Потому что от увязшего в луже коротышки тянуло мясом. Сушёным, духовитым — тем самым, что лежало у него в котомке и, судя по всему, поджидало именно меня.

Тут надо кое-что пояснить, иначе вы сочтёте меня дурнем. Я ведь только-только обжился в новой шкуре и ещё не знал, какого страху она нагоняет. А по всему прежнему моему опыту выходило просто: где двуногий — там, глядишь, и перепадёт чего-нибудь съестного. А что эти двое жались от меня по углам, я списал на их же причуды. Мало ли. Меня звало мясо.

И я пошёл.

Крадучись — как оно и положено, когда вокруг непонятно что. Выбрался из-за своего камня, прижался к земле и двинулся к луже. Шажок. Другой. Нос вёл, лапы слушались.

Знал бы я, как это выглядело с их стороны.

А с их стороны грайв, только что сгинувший за камнем, выползал обратно — низко, брюхом по земле, подбираясь прямо к увязшему в грязи коротышке. Не зверь — наваждение. Подобрался вплотную, сел у самого края лужи и уставился сверху вниз. Будто примеривался, с чего начать.

Низенький издал звук, какого я от взрослого мужчины и не ждал. Его явно потряхивало в грязной луже.

— Идёт... — просипел он. — Идёт, зараза...

Я подошёл достаточно близко и мяукнул. По возможности вежливо.

Это, кажется, сбило ему все карты. «Мяу» — явно не то, что гном ожидал от меня услышать. Его лицо выглядело как в момент, когда тебе рассказали ну очень смешную шутку, прямо до истерики, вот только не смешно тебе ни капельки.

Если мяуканье не помогало — был ещё рабочий вариант.

Шагнул прямо к коротышке, не в лужу, я же не на помойке себя нашёл так унижаться за еду, но так, что нога его была в досягаемости. Выгнул спину и прошёлся своим боком по его ноге — всё как полагается, от щеки до самого хвоста.

Перед этим приёмом не устоял ни один из моих прежних кормильцев. Кот, который трётся об ногу и мурчит, размягчает любое сердце — проверено на многих поколениях двуногих. Кто после такого прогонит — тот и не человек вовсе.

Вот только Брок в эту минуту не способен был ни прогнать, ни приглубить. Он попросту окаменел.

Лежал в своей луже, не моргая, и пялился на меня — туда, где об его сапог самозабвенно тёрлась здешняя погибель. Гроза лесов. Серая смерть, которой у огня пугают детей. Тёрлась и мурлыкала, выпрашивая кусок вяленого мяса.

Из-за камня донеслось сдавленное — не разобрать, смех или всхлип.

— Брок, — позвала эльфийка. Голос подрагивал, но любопытства в нём было уже больше, чем страха. — Брок. Оно... трётся об тебя, что ли?

— Вижу, — просипел Брок, не шевелясь. — Сам, что ли, не вижу.

А дальше я почувал, как в нём что-то переменялось, — почувал раньше, чем понял. У людей в такие минуты меняется запах: страх отступает, и на его место подкатывает что-то жадное, тёплое, цепкое. У Брока этого добра было с избытком.

Он медленно сел прямо в луже и опустил на меня глаза. Оглядел меня — уже не как смерть свою, а иначе. Внимательно. С прикидкой. Так глядят не на чудовище, а на чудо, у которого есть цена.

— Вэйрис, — выговорил он наконец, и в голосе вместо ужаса начинали прорезаться нотки рассудительности. — Вэйрис... давай мешок.

Слово «мешок» я понял правильно, а вот с контекстом вышла промашка. Это оказался вовсе не тот мешок, в котором было мясо, а тот, в котором оказался я...

Ч

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.